



П. Г. ЧЕРКАСОВ

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

С Владимиром Сергеевичем Соловьевым мне пришлось познакомиться в 1876 г. До знакомства с ним я его видел мельком, один раз; и эта первая встреча носила характер положительно юмористический (равно как и последняя моя встреча с ним, летом 1893 г., после которой мне с ним не доводилось видеться). Вообще, надо сказать, что все мои воспоминания об этом выдающемся человеке, по странному стечению обстоятельств относятся именно к «несерьезной» его стороне. Но так как и последняя имеет свою цену для характеристики человека, то я и постараюсь изложить свои воспоминания о Владимире Сергеевиче возможно подробно. В июле 1876 г., только что оправившись от тифа, я шел с покойной матерью по проезжей дороге, пролежавшей около парка нашего подмосковного имения «Троицкое» (Подольского уезда Московской губернии); я был еще настолько слаб, что мать водила меня под руку, и приходилось частенько присаживаться для отдыха. В один из таких отдыхов наше внимание было привлечено грохотом экипажа и конским топотом. Оказалось, что от старой калужской дороги несется кавалькада, а за ней «долгуша», запряженная тройкой. Впереди кавалькады, на бойкой серой лошади, неся красивый брюнет с развевающимися по плечам волосами; пятки его, плотно прижатые к лошади, «придавали» последней ходу, и она неслась вовсю. А красивый всадник мрачного вида глядел куда-то вдаль и, ничтоже сумняшеся, летел дальше, размахивая локтями. Ясно было из всей его повадки, что езда верхом ему была не в привычку. «Ядро» кавалькады составляли наши соседки, дочери Николая Васильевича Калачова¹, (с которым я в то время еще не был знаком); оказался знакомым один из кавалеров (ехавший на «долгушке» и, видимо, уступивший свою лошадь незнакомому мне

всаднику) — С. Н. Деконский, с которым я раньше встречался в Москве. <»Незнакомый всадник» — Вл. С. Соловьев.>

Спустя несколько недель я познакомился с Калачовыми, имение которых — Воскресенское — находилось в 5 верстах от имения матери. И в ту же осень встретился я с Вл. С. Соловьевым у них в Москве — в Хамовниках, где у Н. В. Калачова был свой деревянный особнячок для временных наездов его самого и его семьи. И теперь, вспоминая эту первую встречу с Вл. С., живо чувствую то «неожиданное впечатление», какое он на меня произвел: впереди него, если можно так выразиться, «катился его неистовый смех». «Философ, ученый, такая серьезная (чтобы не сказать — мрачная) наружность... и такой смех» — вот первое «недоуменное» впечатление, какое я от него вынес. А потом — недоумение исчезло, но бока болели. И неожиданностей, чисто мальчишеского характера, в нем была масса. В числе молодых людей, бывавших в Хамовниках у Калачовых, был Павел Иванович Аристов — кажется, очень добрый и хороший человек, он был одержим страстью читать стихи. А читал он стихи гнусно. Помню, попалась ему под руку книжка «Русского вестника», в которой печатались (не помню — чьи) переводы из Гафиза: вот Павел Иванович и начинает читать с массою чувства (по-своему): «О, если б розой ты была, а я кустом, тебяносящим» и т. д., а Владимир Сергеевич, к которому он питал чувство вроде институтского обожания (между прочим, он удачно определил глаза Соловьева: «У Владимира Сергеевича такие чудные глаза — мохнатые такие», действительно, ресниц и бровей Соловьеву была отпущена «двойная порция»), мрачно «выбивает» в воздухе такт обеими руками над головой чтеца; зрители долго крепились, но наконец не выдержали и дружно фыркнули. Аристов поднял голову, а Соловьев в это время, «широким размахом», опустил обе руки, из которых одна пришлась аккуратно по темени Павлу Ивановичу. «Ах, Владимир Сергеевич, вы все шутите!» — а в ответ мрачно: «Зачем вы голову не вовремя подняли?». В другой раз Аристов что-то разглагольствовал (а надо сказать: не речист он был!) и порядком-таки «запутался» в аргументации: вдруг раздается «замогильный» голос Соловьева: «Знаете, Павел Иванович, вы мне подчас страшно напоминаете моего брата Мишу». «Чем, Владимир Сергеевич?» — радостно вопрошает польщенный Аристов. — «Он *ужасно* любит говорить глупости». И это «сочное» *ужасно* было сказано с таким чувством, с таким вкусом, что все, не исключая и Аристова, умирают от смеха. Надо отдать справедливость покойному: и сам он любил говорить «глупости». Тому же П. И. Аристову, когда он «терзал» нас чтением

«из Гафиза», он преподнес прутковскую басню: «Пастух, молоко и читатель»², к немалому восторгу слушателей. Вообще, он любил цитировать Пруткува и декламировал его «бессмертные» произведения с таким комическим чувством, что у слушателей после этого долго болели «подвздохи». И *как* он смеялся — это себе представить не может тот, кто сам не слышал этого стихийного, заразительного смеха! Этому смеху я обязан и последней встречей с Владимиром Сергеевичем. Летом 1893 г., когда я служил в Москве, я как-то (помнится мне — в июне) возвращался с одним из последних вечерних поездов со станции Быково. Только что мы отъехали от станции, как слух мой поразил необыкновенный смех в соседнем отделении; у меня сразу явилась уверенность, что источником его может быть *только* Соловьев (хотя мне перед этим уже много лет не приходилось с ним встречаться). Заглядываю в отделение и вижу — в серой накидке, с седой гривой и седою бородой, в углу сидит Владимир Сергеевич. Поздоровался я с ним, но он меня не узнал; а когда я себя назвал, он сразу перенесся в воспоминания о наших прошлых встречах. А так как нас связывали воспоминания — как я уже говорил выше — исключительно веселого характера, то мы и прохохотались весь остаток пути до Москвы (к немалому «соблазну» наших случайных спутников). На вокзале Соловьев меня спрашивает: «А вам в какую сторону, Павел Гаврилович?» — «На Пречистенский бульвар (я служил тогда помощником управляющего Московского удельного округа), ближе к храму Спасителя». — «Великолепно — мне по пути с вами до Арбатских ворот; едемте вместе». «Ванька» нам попался необыкновенный: замученный, сонный возница, с таковою же лошадию. Вез он нас без конца, буквально натыкаясь на тумбы, фонари и рогатки; а мы с Владимиром Сергеевичем вспоминали былые годы и смеялись до того, что наш возница временами выходил из своего состояния апатии и с недоумением оглядывался на нас. Оглядывались на нас и блюстители порядка, вероятно думавшие, что такое шумное веселье едва ли может быть почитаемо «безалкогольным». Такова была моя последняя встреча с этим человеком. И если мои воспоминания о нем касаются только одной «веселой» стороны его облика, то как-то удивительно ярко вызывают в моем воображении того «живого» Соловьева, которого я знал. Еще из соловьевских «неожиданностей». Пристает к нему хорошенькая барышня, чтобы он сказал экспромт. Соловьев долго отмалчивается, а затем с обычным «мрачным» видом докладывает ей: «Глаза имеет и коза (пауза — барышня недоумевает и как будто начинает конфузиться и чувствовать неудовольствие); коза — чтобы траву щипать,

а вы — чтобы сердца пленять». Сидит против него милая и красивая, но очень конфузливая барышня, у которой, когда она конфузится, привычка «перебирать губами». Соловьев в одном из своих приступов задумчивости уперся в нее глазами, не говоря ни слова; барышня конфузится и все сильнее начинает «перебирать губами». Вдруг Соловьев отверзает уста и мрачно вопрошает: «Зачем вы — имярек — мордоплясничаете?» И сам первый «грохочет» по поводу сего «несалонного» вопроса (хотя и обращенного к сестре близкого друга). Чтение стихов «из Гафиза», о котором я говорил выше. У слушателей начинают тосковать ноги; вдруг из угла, где «мрачно» восседает Соловьев, раздается: «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану» [Козьма Прутков]. В результате чтение «из Гафиза» оказывается «гальотинизированным», что и требовалось. Пристали к нему как-то, чтобы он продекламировал что-нибудь «серьезное», Владимир Сергеевич с чувством (и с серьезным видом) начинает: «Тихо над Альгамброй, / Дремлет вся натура, / Дремлет замок Памбра, / Спит Эстремадура»³ (впрочем, он изменял, помнится, расположение стихов так: «Тихо над Альгамброй, / Спит Эстремадура, / Дремлет замок Памбра, / Вся молчит натура»). Сначала слушают внимательно и серьезно, потом с недоумением, а уже как дело дошло до унылого кавальеро («Страсть кипит унылая / В вашем кавальеро»), недоумение переходит в широкие улыбки и кончается «серьезная декламация» всеобщим безудержным хохотом. Козьма Прутков никому из нас в те времена известен не был; познакомил нас с ним Владимир Сергеевич, преподнесивший нам его стихи, мысли и афоризмы с такою неожиданностью, с таким «а рпо», что долго после того пробирал смех при воспоминании о них. Приходилось много слышать разговоров о нем и от покойного Александра Николаевича Калачова (брата моей жены), который с ним встретился и сошелся зимою 1875/76 г. за границей (сначала они жили вместе на Капри, а затем в Италии⁴, — а может быть, сначала в Италии, а потом на Капри, наверно не помню). Но и эти воспоминания носили характер веселый или, во всяком случае, несерьезный... К сожалению, нет никаких следов переписки Соловьева с А. Калачовым.

